

А 65

ОЛЕ ЛУКОЙЕ

СКАЗКИ
Г. АНДЕРСЕНА



НОВАЯ МОСКВА

А 65

Г. Х. АНДЕРСЕН

528
N 55

А 65

ОЛЕ ЛУКОЙЕ

СКАЗКИ

ПЕРЕВОД С ДАТСКОГО
С. Г. ЗАЙМОВСКОГО

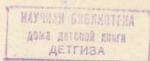


„НОВАЯ МОСКВА“
1924

Отпечатано
в 16 типографии „Мосполиграф“
в количестве 10.000 экз.
Мосгублит № 492.



36200



47501



ОЛЕ ЛУКОЙЕ.

Во всем свете нет никого, кто умел бы рассказывать столько историй, как Оле Лукойе — «Оле Закрой-глазки». Уж вот кто так умеет рассказывать!

Этак, вечером, когда дети сидят за столом или на своих скамеечках, приходит Оле Лукойе; он тихонечко поднимается по лестнице, потому что он ходит в чулках, совершенно беззвучно отворяет дверь, и — пррр! брызжет детям в глаза сладким молоком, мелкими-мелкими брызгами, но все же такими, чтобы они не могли раскрыть глаза и увидеть его. Он подкрадывается сзади, тихонько дует им в затылок, и у них тяжелеет голова — но это не больно, потому что Оле Лукойе желает детям только добра; ему хочется только, чтобы дети успокоились, а это достигается лучше всего, когда они находятся в постели; они должны соблюдать тишину, чтобы он мог рассказывать им свои истории.

Когда дети засыпают, Оле Лукойе садится на постель; он наряден, на нем кафтан из шелковой материи, но какого она цвета, определить невозможно, потому что она отликает то зеленым, то красным, то синим при каждом его повороте; под каждой рукой у него дождевой

зонтик; на одном нарисованы картинки, этот зонтик он распускает над хорошими детьми—и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки! На другом же зонтике нет ничего, и его он распускает над непослушными детьми; эти дети всю ночь ворочаются, и когда просыпаются утром, то не помнят никаких снов.

Понедельник.

— Ну слушай,—промолвил Оле Лукойе вечером, уложив Яльмара в постельку,—я приступаю к уборке!—И все цветы в горшках превратились в большие деревья, протянувшие длинные ветви под потолком и по стенам, так что комната стала похожа на прелестную беседку; на всех ветках появились цветы, и каждый цветок был прекраснее розы и изливал восхитительный аромат; а если его взять в рот, то он был слаще варенья. Фрукты блестели как золото, и были там мячи, чуть не лопавшиеся от изюма—это было нечто изумительное! Вдруг в ящике стола, в котором лежали учебники Яльмара, послышался чей-то жалобный вопль.

— Это что такое?—проговорил Оле Лукойе, подошел к столу и выдвинул ящик. Это была аспидная доска, в которой что-то скрежетало и дергалось, потому что в написанном на ней арифметическом примере оказалось неверное число, так что цифры готовы были разсыпаться; грифель прыгал и рвался на своем шнурке, как собачонка, ему хотелось помочь исправить ошибку, но он не мог этого сделать.—Кроме того, плакалась еще тетрадь Яльмара—просто слушать было жалостно! На каждой ее странице стояли большие буквы, и при каждой сбоку маленькая; они стояли все в ряд, это была

пропись. А возле них стояли другие буквы, воображавшие себя такими же, как прописные, потому что их написал Яльмар; между тем, они спотыкались на карандашной черте, на которой должны были стоять совершенно прямо.

— Смотрите, вот как вы должны держать себя!—говорила пропись.—Смотрите, немножко наискосок, но смелой чертой!

— Ах, мы бы с величайшей охотой,—отвечали яльмаровы буквы,—но мы не можем, мы такие гадкие!

— Ну, так вам дадут детского порошку!—сказал Оле Лукойе.

— Ах, нет!—закричали они, и стали так прямо, что любо было смотреть.

— Да, но мы ведь не рассказывали историй!—спохватился Оле Лукойе.—Произведу-ка я с ними ученье! Раз, два! Раз, два!—Он стал учить буквы, и они стояли прямо и бодро, как ни одна пропись не могла бы стоять. Но когда Оле Лукойе ушел, и Яльмар утром взглянул на них, они были такие же жалкие, как накануне.

В т о р н и к.

Как только Яльмар лег в постельку, Оле Лукойе прикоснулся своей волшебной спринцовкой ко всей мебели, находившейся в комнате, и предметы тотчас же заговорили, и болтали все о себе, за исключением плевательницы, которая стояла молча и возмущалась тщеславием прочих, которые умеют говорить только о себе, думать только о себе, совершенно забывая о тех, кто скромненько стоит в углу и позволяет плевать в себя...

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; это был ландшафт, изображавший высокие старые

деревья, цветы в траве и большой пруд с ручьем, который огибал лес и протекал мимо множества замков, изливаясь в широкое море.

Оле Лукойе прикоснулся к картине своей волшебной спринцовкой, и птицы на картине начали петь, древесные ветви зашевелились, а облака понеслись по небу; можно было даже видеть их тень на ландшафте.

Оле Лукойе поднял маленького Яльмара к раме, Яльмар ступил ножками в картину, прямо в высокую траву, и там остался; солнце освещало его сквозь ветки деревьев. Он побежал к пруду и сел в лодочку, стоявшую у берега; она была расписана синей и красною краской, паруса ее белели, как серебро, и шесть лебедей, с золотыми венчиками вокруг шеи и блестящими голубыми звездами на голове, потащили лодку мимо зеленых лесов, где деревья рассказывали ему о разбойниках и ведьмах, о цветах и живущих в них хорошеньких эльфах *), и вообще все, что им рассказывали бабочки.

За лодкой плыли хорошенькие рыбки в золотой и серебряной чешуе; иногда какая-нибудь подпрыгивала, так что в воде раздавался плеск, и птицы, красные и голубые, большие и малые, вереницами летели им вслед; мошки плясали, а жуки приговаривали: бум! бум! Всем им хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него история.

Славная была парусная прогулка. Леса то делались густыми и темными, то становились похожи на чудесные сады с солнечным сиянием и цветами, и в них виднелись дворцы из стекла и мрамора; на балконах стояли принцессы, и все они были маленькие девочки, которых Яльмар хорошо знал: он с ними раньше играл. Они протягивали

*) Сказочные крохотные существа, обитающие в чашечках цветов.

ручонки, и каждая держала прехорошенького сахарного поросенка, какого не купить ни у одной пирожницы; Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец сахарного поросенка, а принцессы крепко держали другой; каждой доставался кусочек, тот, что поменьше, а Яльмару — побольше. У каждого дворца маленькие принцы держали караул, они отдавали честь золотыми саблями и дождем сыпали на проезжих изюм и оловянных солдатиков; они были настоящие принцы!

Яльмар плыл то лесами, то через огромные залы или через города; он проплыл и там, где жила его няня — та, что носила его, когда он был совсем крохотным мальчиком, и так любила его! Она кивала и подмигивала ему и пела чудесную песенку, которую она сама сочинила и прислала Яльмару:

«Я часто тебя вспоминаю,
Мой милый малютка Яльмар,
И в мыслях губами ласкаю
Твой лобик и щечек загар.
Ведь лепет твой ангельски-нежный
Из первых услышала я!
Расти же, дитя, безмятежно,
Да изредка вспомни меня...»

И все птицы подпевали, цветы плясали на своих стебельках, а старые деревья кивали вершинами, словно Оле Лукойе и им рассказывал сказки.

С р е д а .

О, какой ливень был на дворе! Яльмар слышал его сквозь сон, и когда Оле Лукойе отворил окошко, то вода доходила до самого подоконника; на дворе было целое озеро, а у дома стоял великолепный корабль.

— Хочешь поплыть с нами, маленький Яльмар?— спросил Оле Лукойе.— За ночь мы насмотримся чужих краев, а к утру опять будем дома!

И Яльмар вдруг очутился в своем воскресном наряде посреди пышного корабля; погода стала восхитительной; они поплыли по улицам, объезжали церкви, и наконец очутились в широком, открытом море. Они так далеко уплыли, что суша скрылась из глаз, и они увидели стаю журавлей, которые тоже улетали из дому, направляясь в жаркие страны. Журавли летели один за другим, они давно, давно уже летели так! Один из них так притомился, что крылья едва держали его; он был последним в цепи, скоро он сильно отстал от товарищей, потом стал спускаться, расширив крылья, все ниже и ниже, еще несколько раз ударил крыльями, но это не помогло делу; вот он коснулся ногами корабельных снастей, скользнул по парусу, и очутился на палубе.

Молодой матрос поднял его и посадил в курятник— к курам, уткам и индейкам; бедный журавль улыло стоял между ними.

— Смотрите, какой!—проговорили куры.

А индейский петух надулся, напустил на себя важности и спросил, кто он таков; утки пятились и говорили друг дружке:—Рап-рап!

И аист начал рассказывать о знойной Африке, о пирамидах и страусах, бегающих по пустыне на манер диких коней, но утки не понимали того, что он рассказывал, и крикали друг дружке:— Не согласиться ли нам на том, что он глуп?

— Да, он наверное глуп!—решил индейский петух, и заболтал. Аист умолк и стал думать о своей Африке.

— А славные у вас, тонкие ноги!—проговорил индюк.—Почем арпиш?

— Ха-ха-ха!—зубоскалили утки; но аист притворился, что ничего не слышал.

— Вы тоже могли бы посмеяться!—сказал ему индюк.—Это было очень остроумно сказано. Но может быть, для него это недостаточно возвышенно! Ах, ах!

— Он односторонен! Останемся лучше интересны друг для друга!—И куры заклохтали, утки кричали: гик-гак! гик-гак! Им все это казалось страх как остроумным!

А Яльмар пошел к курятнику, отворил дверцу, позвал аиста, и он выскочил к нему на палубу; теперь он отдохнул, и Яльмару показалось, словно он благодарил его кивком. Потом аист раскинул свои широкие крылья и полетел в жаркие страны; куры кудахтали, утки кричали, а индейский петух побагровел от злости.

— Завтра мы из вас сварим суп!—сказал Яльмар—и проснулся в своей кровати. Дивное путешествие устроил ему ночью Оле Лукойе!

Ч е т в е р г .

— Знаешь что?—сказал Оле Лукойе.—Не бойся только; ты увидишь мышку!—и он протянул к нему руку с хорошеньким легким зверьком.—Она явилась приглашать тебя на свадьбу! Две маленьких мышки собираются этой ночью вступить в брак. Обе они живут под полом кладовки твоей мамы, у них будет там отличная квартира!

— А как же я попаду в подполье через крохотное отверстие?—спросил Яльмар.

— Это ты предоставь мне,—отвечал Оле Лукойе.—И он прикоснулся к Яльмару своей волшебной сприн-

цовкой, Яльмар стал уменьшаться, и, наконец, стал не больше пальца.—Теперь ты можешь одолжить костюм у твоих оловянных солдатиков, я думаю, что он подойдет, а в обществе лучше всего находиться в военной форме!

— Ну, да!—подтвердил Яльмар, и в одно мгновение принарядился, словно новехонький оловянный солдат.



— Не будете ли вы любезны сесть в наперсток вашей маменьки?—пригласила мышка.—Так я буду иметь честь отвезти вас!

— Да зачем же вам, барышня, лично беспокоиться!—ответил Яльмар, и они поехали на свадьбу.

Под полом они прежде всего попали в длинный коридор, высоты которого хватало лишь настолько, чтобы мог проехать наперсток; весь коридор был освещен гнилушками.

— Неправда ли, как здесь восхитительно пахнет?—спросила мышь, везшая Яльмара.—Весь коридор вымазан свиным салом! Не может быть ничего восхитительнее этого!

Наконец, они прибыли в брачную залу; по правую руку здесь стояли мыши женского пола, они хихикали и шептались, словно дурачась; налево же выстроились мужчины, поглаживавшие лапками свои усы, а по середине стояла молодая чета. Обрученные стояли на вы-

долбленной сырной корке и много и страшно целовались у всех на глазах—они ведь были обручены, и сейчас собирались сочетаться браком!

В зал все больше набивалось гостей; давка была такая, что мыши чуть не затоптали друг дружку до смерти, а чета молодых стала в дверях, так что ни войти, ни выйти не было возможности. Вся комната, как и коридор, была вымазана свиным салом, это было все угощение, но к десерту подали горошину, на которой



маленькая мышка из родни молодых выгрызла имена брачующихся—вернее, начальные буквы их; но это было нечто изумительное!

Все мыши утверждали, что свадьба сошла блестяще, и что разговор на ней поддерживался самый оживленный.

А Яльмар поехал домой; он, правда, побывал в избранном обществе, но ему пришлось для этого съезжиться, сделаться карликом и облачиться в мундир оловянного солдата.

П я т н и ц а.

— Невероятно, сколько есть старших, которые хотели бы добраться до меня!—говорил Оле Лукойе.—Особенно те, которые сделали что-нибудь дурное.—Добрый, маленький Оле!—говорят они мне,—мы не можем закрыть глаз, и потому лежим всю ночь и видим все наши дурные проделки, которые отвратительными гномами сидят на краю нашей постели и брызгают в нас горячей водой; не придешь ли ты прогнать их, чтобы мы могли крепко уснуть?

И они глубоко вздыхают:—Мы тебе заплатим! Спокойной ночи, Оле; деньги лежат на окне!—Но я не делаю это за деньги!—заклучил Оле Лукойе.

— А что у нас будет нынче ночью? — спросил Яльмар.

— Я не знаю, захочешь ли ты в эту ночь опять побывать на свадьбе; это в другом роде, чем вчерашняя. Большая кукла твоей сестры, та, что похожа на мужчину и зовется Германом, женится на кукле Берте; кроме того, нынче день рождения куклы, так что будет много подарков.

— Да, это я знаю,—отвечал Яльмар.—Всегда, когда куклам нужно новое платье, сестра заставляет их праздновать именины или свадьбу! Это было, наверное, сто раз!

— Да, но в эту ночь состоится сто первая свадьба, и всему конец. Вот почему это будет нечто совсем необыкновенное! Вот увидишь; посмотри!

И Яльмар взглянул на стол, там стоял домик из папьемаше со свечами в окнах, и все оловянные солдатики делали на-караул. Молодые сидели на полу, прислонив-

пись спиною к ножке стола; они находились в большой задумчивости, и было отчего. Но Оле Лукойе, наряженный в бабушкино черное платье, венчал их; когда венчание кончилось, все предметы в комнате запели прекрасную песенку, записанную карандашом, она пелась на мотив зори:

Пусть вихрем наша песнь ворвется
В чертог супругов молодых;
Из лайки спит наряд на них,—
Он прям, как палка, и не гнется.
Ура! Ура! Перчатки кожа
На самый лучший шелк похожа!..

Потом они получили подарки, но от всего съестного отказались; с них довольно было их любви!

— Остаться ли нам в деревне или поехать за границу?—спросил молодой, и пригласил для совещания ласточку, которая много путешествовала, и старую дворовую курицу, которая пять раз выводила цыплят. Ласточка стала рассказывать о чудесных жарких странах, где растет такой крупный и тяжелый виноград, где воздух так мягок, а горы играют красками, каких здесь даже не знают.

— Но у них нет нашей зеленой капусты!—промолвила курица.—Одно лето я провела со всеми своими цыплятами в деревне; там была песочная яма, в которой нам позволили рыться, и кроме того, мы имели доступ к саду с зеленой капустой. О, как она была зелена! Прекраснее этого я ничего не могу себе представить!

— Но ведь один капустный кочан совершенно похож на другой!—отвечала ласточка;—и к тому же, здесь так часто бывает ненастье!

— Ну, к этому привыкают!—сказала курица.

— Но тут холодно так, что замерзнуть можно!

— Это полезно капусте,—заметила курица.—К тому же, у нас тоже бывает тепло! Не помните ли вы лето четыре года тому назад—оно было такое жаркое, что дышать было трудно! И потом, у нас нет ядовитых животных, какие там водятся! И мы избавлены от разбойников! Только злодей какой-нибудь мог бы найти нашу страну не самую прекрасною! Он по совести не заслуживал бы того, чтобы здесь находиться!—И курица заплакала.—Я тоже путешествовала! Однажды я проехала в корзине свыше двенадцати миль! Никакого вовсе нет удовольствия в путешествиях!

— Да, курица рассудительная особа,—заметила кукла Берта;—я тоже не люблю странствовать по горам; только и знаешь, что вверх да вниз! Нет, мы переберемся в песочную яму и будем гулять по капустному саду.

На том и порешили.

С у б б о т а.

— Услышу я нынче историю?—спросил маленький Яльмар, как только Оле Лукойе уложил его в постель.

— Нынче вечером у нас для этого нет времени,—сказал Оле и раскрыл над ним свой зонтик,—тот, что покрасивее.—Посмотри-ка на этих китайцев!—И весь зонтик стал похож на китайскую чашку с синими деревьями и угловатыми мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.—К утру нам надо хорошенько приварядить весь свет,—продолжал Оле;—ведь завтра воскресенье. Я отправлюсь на колокольню посмотреть, отполировали ли маленькие гномы коло-

кола, чтобы они хорошо звонили, спущусь на землю и посмотрю, сдули ли ветры пыль с травы и листьев, а самая главная будет работа—спустить звездочки с неба, чтобы отполировать их! Я заберу их в свой фартук; но прежде надо будет их перенумеровать; надо перенумеровать и ямки, в которых они сидят на небе, чтобы они попали на свои места, иначе они не будут прочно сидеть,



и мы увидим много падающих звезд; они так и будут срываться одна за другою!

— Послушайте-ка, знаете ли что, г-н Лукойе,—заговорил старый портрет, висевший на стене, у которой спал Яльмар;—я прадедущка Яльмара, спасибо вам за то, что вы рассказываете мальчику истории,—но вы не должны путать его понятий! Звезд нельзя снимать с неба для полировки. Звезды—шары, подобно нашей земле, а это-то и хорошо в них!

— Спасибо тебе, старый прадедущка!—отвечал Оле-Лукойе,—спасибо тебе! Ведь ты глава семейства, ты «праглава»!.. Но я древнее тебя! Я старый язычник; римляне и греки называют меня богом снов. Я принят в самых

уважаемых домах, и продолжаю бывать в них. Я умею обращаться с великими и малыми. Теперь ты рассказывай! — И Оле Лукойе ушел, захватив с собою зонтик.

— Уж нельзя и мнения своего высказать! — проговорил старый портрет.

И Яльмар проснулся.

Воскресенье.

— Добрый вечер! — сказал Оле Лукойе, и Яльмар кивнул головой, но тотчас же вскочил с постели и повернул портрет прадедушки лицом к стене, чтобы он не разговаривал по-вчерашнему.

— Теперь ты должен рассказывать мне истории: о «пяти зеленых горошинах, которые жили в одном стручке», и о «петушьей лапке, строившей куры куриной лапке», и о «штопальной игле, которая так возмечтала о себе, что вообразила себя швейной иглой».

— Хорошего понемножку! — отвечал Оле Лукойе; — знаешь, я лучше что-нибудь покажу тебе! Я покажу тебе моего брата, которого тоже зовут Оле Лукойе — «Оле Закрой-глазки»; но он ни к кому не является больше одного раза, а когда приходит, то берет с собой детей на коня и рассказывает им истории. У него их только две: одна восхитительная, как только можно себе представить; а другая противная и страшная — да она даже не поддается описанию! — И Оле Лукойе поднял маленького Яльмара к окну и промолвил: — Тут ты увидишь моего брата, второго Оле Лукойе; его зовут также Смертью. Видишь, он совсем не такой, как в книжках с картинками, где у него только кости! Нет, у него на платье серебряное

шитье: это красивый гусарский мундир. Сзади развеваает ся плащ черного бархата, закрывающий лошадь. Смотри, как он мчится галопом!

И Яльмар увидел, как Оле Лукойе мчался, забирая на своего коня и молодых, и старых людей; одних он сажал впереди себя, а других позади; но обязательно спрашивал раньше:—Как обстоит дело со свидетельством



о поведении?—Хорошо!—отвечали ему все.—Дай-ка, я сам посмотрю!—говорил он, и приходилось показывать ему книжку; все, у кого стояла отметка: «Очень хорошо», или «Отлично», садились впереди седла и выслушивали прекрасную сказку; а те, у кого стояло: «Сносно» или «Средне», попадали за седло и должны были выслушать отвратительную сказку; они дрожали и плакали, хотели соскочить с лошади, но это им не удавалось, потому что они приростали к ней.

— Но Смерть прекраснейший Оле Лукойе!—замечал Яльмар.—Я его не боюсь!

— Да и не надо!—сказал Оле Лукойе.—Смотри только, чтоб у тебя были хорошие отметки!

— Вот это поучительно!—пробормотал портрет прадедушки,—что значит, когда выскажешь свое мнение!— И он был очень доволен.

Вот и вся сказка об Оле Лукойе. Теперь ты сам можешь еще что-нибудь рассказать себе вечером!..





СВИНОПАС.

Жил на свете принц; у него имелось крохотное-прекροхотное королевство,—однако, оно было достаточно велико, чтобы иметь право жениться; и он задумал жениться!

Конечно, с его стороны было несколько смело, когда он позволил себе обратиться к дочери императора:—«Хочешь пойти за меня?»—Но он решился на это, ибо имя его славилось повсюду. Из сотни принцесс любая с радостью пошла бы за него. Но посмотрим, так ли оно было в действительности.

Ну, слушайте же!

На могиле принцева отца рос розовый куст,—поистине удивительный куст. Он расцветал только раз в пять лет, да и то давал лишь одну единственную розу; но она издавала такой дивный аромат, что, понюхав ее, люди забывали все свои заботы и огорчения. Был также у принца соловей, певший так искусно, словно в его маленьком

горлышке поселились все дивные мелодии. Эту розу и этого соловья и должна была получить принцесса! Оба предмета запаковали в большие серебряные ларцы и отослали принцессе.

Император приказал принести ларцы в большой зал, куда принцесса отправилась играть со своими придворными дамами в «гости идут»; ничем другим они не занимались. И вот, когда принцесса увидела огромные ларцы с подарками, она с радости захлопала в ладоши.

— Ах, если бы это была киска!—проговорила она; но из ларца вынули пышную розу.

— Более, чем мило!—возразил император, —она дивно хороша!

Но принцесса ощупала розу и едва не расплакалась.

— Фи, папа,—воскликнула она,—ведь это не искусственная роза, а только *настоящая*!

— Фи!—поспешили прибавить придворные,—да ведь это натуральная!

— Посмотрим, что в другом ларце, прежде чем со-благоволим разгневаться!—решил император. И вот, вынули соловья. Он пел так дивно, что нельзя было придумать для него ни одного упрека.

— *Superbe! Charmant* *)!—воскликали придворные дамы,—все они болтали по-французски, одна хуже другой.

— Как напоминает мне эта птица музыкальную табакерку блаженной памяти императрицы!—заметил один старый кавалер.—Ах, совершенно те же звуки, то же исполнение!...

— Да,—ответил император и расплакался, как малый ребенок.

*) Великолепно! Восхитительно!

— Да ведь это не настоящая!—вскричала принцесса.

— Нет, это настоящая птица!—объявили принесшие птицу.

— Ну и пусть себе летит!—решила принцесса, и ни за что не соглашалась допустить к себе принца.

Но принц был не робкого десятка. Он вымазал себе лицо бурой черной краской, заломил шапку на затылок и постучал у дверей.

— Добрый день, император! Нельзя ли поступить в замок на службу?

— Ах, теперь так много безработных!—ответил император.—Но мы подумаем... Да! Мне ведь нужен сейчас человек, который бы умел пасти свиней,—у меня их такая гибель!

И вот, принц был назначен императорским свинопасом. Он получил длинную каморку возле свиного хлева, и здесь должен был жить. Он целый день сидел и работал, а когда наступил вечер, у него был готов хорошенький горшочек. Наверху горшка он привязал колокольчики, и как только в горшке вода закипала, они дивно звенели и наигрывали старинную мелодию:

Милый мой Августин,—

Вышел комом твой блин!

Но главная штука была в том, что если подержать палец над паром, выходившим из горшочка, то можно было тотчас же пронюхать, какое кушанье готовится на любом очаге в городе. Да, это вам не роза!

Однажды принцесса со всеми своими придворными дамами проходила мимо и услышала музыку. Она остановилась послушать и пришла в восторг—она также умела играть: «Милый мой Августин». Это была единственная

вещь, которую она знала,—зато она наигрывала ее одним пальцем!

— Да ведь я тоже это умею!—вскричала она.— Какой, право, образованный свинопас! А ну-ка, пойдی туда и спроси, сколько стоит его инструмент...

И вот одна из придворных дам должна была побежать к свинопасу; но предварительно надела деревянные башмаки.

— Сколько ты желаешь за горшок?—спросила придворная дама.

— Я желаю получить от принцессы десять поцелуев,—ответил свинопас.

— Боже избави!—вскричала придворная дама.

— Да, меньше никак не возьму!

— Ну, что он сказал?—спросила принцесса.

— Право, я не могу этого повторить,—ответила придворная дама.—Мне страшно!

— Ну, скажи мне на ухо!—И та прошептала принцессе на ухо.

— Какой невежа!—проговорила принцесса и стала быстро удалиться. Но, пройдя небольшое расстояние, она опять услышала прелестную игру колокольчиков:

Милый мой Августин,—

Вышел комом твой блин!

— Слушай!—опять начала принцесса. — Пойди, спроси его: не возьмет ли он десять поцелуев от моих придворных дам?

— О, нет,—ответил свинопас.— Десять поцелуев от принцессы—иначе горшок останется при мне!

— Какая досада!—промолвила принцесса.—Но вы хоть закройте нас, чтобы никто не увидел...

И вот придворные дамы стали перед ними, растопырив свои платья, и свинопас получил десять поцелуев, а принцесса горшок. Какое настало блаженство! Весь вечер и весь день напролет горшок заставляли кипеть, и не осталось ни одного очага в целом городе, о котором они не дознались бы, что в нем стряпается,—от камергера до последнего башмачника. Придворные дамы приплясывали и хлопали в ладоши!

— А мы знаем, кто стряпает компот и блины! Мы знаем, у кого готовится каша и отбивные котлеты! Как интересно!

— В высшей степени интересно!—поддакивала обергофмейстерша.

— Но держите язык за зубами—ведь я дочь императора!

— Боже избави!—уверяли все дамы.

Свинопас, т.-е. принц,—но они считали его настоящим свинопасом,—не пропускал дня без затей. Так, он придумал трещетку. Когда вертели эту трещетку, то раздавались все вальсы, галоны и польки, какие написаны было со дня сотворения мира.

— Но это великолепно!—заметила принцесса, проходя мимо.—Никогда еще я не слыхала более художественной композиции!.. Пойди, спроси его, что стоит инструмент; но целоваться я не буду!

— Он желает получить сто поцелуев от принцессы,—ответила придворная дама, осведомившись о цене.

— Да он просто дурак!—промолвила принцесса и пошла своей дорогой.

Но, пройдя несколько шагов, остановилась.

— Искусство нужно поощрять,—проговорила она,—не даром я дочь императора! Скажи ему, что я готова

дать ему десять поцелуев, а остальные пускай он получает от моих придворных дам.

— Но мы не хотим этого!—объявили придворные дамы.

— Вздор,—ответила принцесса,—если я могу его целовать, то вы и подавно! Не забывайте, что вы получаете от меня стол и жалованье!—Делать было нечего, придворные дамы опять должны были отправиться к свинопасу.

— Сто поцелуев от принцессы,—объявил он,—или каждый останется при своем!

— Ну, становитесь!..—приказала принцесса. Придворные дамы обступили их, и он начал целовать.

— Что это там за сборище возле свиного хлева? Не понимаю...—проговорил император, выйдя на балкон. Он протер себе глаза и нацепил очки. —Э, да это шутки придворных дам, спущусь-ка я к ним!—Он проворно надвинул сзади свои туфли,—это были стоптанные им башмаки.

Чорт поберит! Как он спешил!

Когда он сошел во двор, то стал тихонько подкрадываться. Придворные дамы были так увлечены счетом поцелуев, следя, чтобы свинопас получил их ни больше, ни меньше, что совершенно не заметили императора.

Он приподнялся на цыпочки.

— Что это такое?—проговорил он, и, увидя, что они целуются, ударил их туфлей по голове—как раз в ту минуту, когда свинопас получал восемьдесят шестой поцелуй.

— Вон!—завоил император, ибо находился в великом гневе. И свинопас с принцессой были изгнаны из пределов его империи.

Она стояла и плакала, свинопас бранился, а дождь потоками лил на них.

— О, я несчастная! — проговорила принцесса, — зачем я тогда не вышла за прекрасного принца? О, как я несчастна!

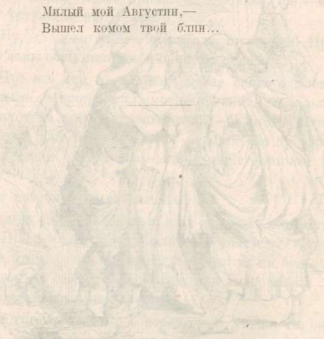


А принц зашел за дерево, стер с своего лица черную и бурую краску, сбросил свои отрепья и выступил перед нею в княжеском одеянии таким красавцем, что принцесса невольно склонилась перед ним.

— Ты довела меня до того, что я тебя презираю! — промолвил он; — ты не хотела принять честного принца! Тебе не понравилась роза и соловей, а свинопаса ты согласилась целовать за простую игрушку! Ты заслужила свою участь!

И он отправился в свое королевство, закрыл за собой дверь и запер на задвижку, предоставив принцессе стоять за дверью и напевать:

Милый мой Августин, —
Вышел комом твой блпн...





СОЛОВЕЙ.

В Китае, — как тебе, конечно, известно, — император китаец, и все, кто его окружает, также китайцы. С той поры прошло много лет, но именно поэтому и стоит выслушать настоящую историю — иначе ее забудут. Замок императора был самым пышным в мире. Он был сделан сплошь из фарфора, очень дорогого и такого хрупкого, до такой степени не выносившего прикосновения, что с ним нужно было обращаться очень осторожно. В саду росли дивные цветы, и на самых красивых из них были прикреплены серебряные колокольчики, беспрестанно звеневшие — чтобы мимо цветов нельзя было пройти, не заметив их. Все в императорском саду было строго продумано, и тянулся он так далеко, что даже садовник не знал ему конца. Если долго идти по саду, можно было попасть в дивный лес с высокими деревьями и глубокими озерами. Лес этот упирался в море, синее и глубокое. Под нависшими ветвями деревьев могли проходить большие корабли, а в деревьях жил соловей, певший так сладостно,

что даже бедный рыбак, весь поглощенный своей работой, лежал неподвижно и слушал, когда выезжал по ночам закидывать сети.—Боже, как хорошо!—говорил он, но тотчас же обращался к своим занятиям и забывал о птице. Но когда соловей в следующий вечер опять начинал петь, рыбак опять повторял:—Боже, как хорошо!

Со всех концов мира в резиденцию императора съезжались путешественники любоваться городом, замком и садом; однако, услышав соловья, все они говорили:—Но это лучше всего!

По возвращении домой путешественники рассказывали о соловье, а ученые писали книги о городе, о замке и саде; но соловья они также не забывали и посвящали ему лучшую главу, а кто умел писать стихи, те писали дивные стихотворения о соловье, живущем в лесу у глубокого моря.

Книги переводились на все языки, и некоторые из них в конце концов попали в руки императора. Он сидел на своем золотом троне, читал да читал, и каждое мгновение кивал головой: так ему приятно было читать превосходные описания города, замка и сада!

— Но соловей лучше всего!—было написано в книге.

— Что это значит?—говорил император.—Соловей... да ведь я его совсем не знаю! Неужели в моей империи и даже в моем собственном саду имеется такая птица? Я никогда о ней не слыхал! Только из книг и узнаешь подобные вещи!

И вот он позвал своего камергера,—такого важного, что когда кто-нибудь пониже чином начинал с ним говорить, или решался спросить его о чем-нибудь, он отвечал только: «П!» «П!» что, как известно, ровно ничего не означает.

— Здесь водится весьма замечательная птица, называемая соловьем!—обратился к нему император.—Говорят, что она—лучшее украшение всей моей огромной державы. Почему мне о ней никогда не докладывали?

— Я до сих пор не слышал ее имени,—отвечал камергер.—Она никогда не представлялась ко двору...

— Я желаю, чтобы она нынче вечером явилась сюда и пела предо мною!—продолжал император.—Весь мир знает, чем я владею, и только я один не знаю этого!

— Я никогда не слышал ее имени,—возразил камергер,—но я ее разыщу; я ее разыщу!

Но где же искать? Камергер бегал вверх и вниз по лестницам, бегал по залам и коридорам, но никто из тех, кого он встречал, не слышал ни слова о соловье. Камергер опять побежал к императору и стал утверждать, что автор, наверно, сочинил эту басню.

— Ваше императорское величество не можете себе даже представить, что пишут в книгах—это вредные выдумки, относящиеся к разряду так называемого черно-книжия!

— Но ведь книгу, которую я читал, прислал могущественный император Японии,—и, конечно, она не может заключать в себе лжи! Я желаю слышать соловья! Чтобы он был тут нынче же вечером! Объявляю его под своим всемилостивейшим покровительством; а если он не явится после ужина, то я прикажу выпороть весь двор по брюху!

— Тсинк-пэ!—промолвил камергер и опять пустился бегать по всем лестницам, залам и коридорам. Полдвора бегало с ним: никому не хотелось быть высеченным по брюху! Всех расспрашивали о замечательном соловье, известном всему миру,—но только не двору.

Наконец, они нашли маленькую бедную девочку-судомойку. Она сказала:

— О, боже, соловей! Я отлично знаю его! О, как он поет! Каждый вечер мне приходится относить остатки обеда моей бедной больной матушке. Она живет внизу, у берега моря; когда я возвращаюсь назад и сажусь отдохнуть в лесу, я слушаю пение соловья... Слезы подступают к моим глазам, и мне делается так сладко, словно меня целует мама!

— Маленькая судомойка!—объявил камергер,—я дам вам постоянное место в кухне и позволю глядеть, как обедает император, если вы проводите нас к соловью: нынче вечером ему приказано петь!

И вот все отправились в лес, где обычно распевал соловей. Подвора тащилось вслед за ними. Когда они прошли порядочное расстояние, где-то замычала корова.

— О,—заметили придворные,—вот он! Однако, изумительная сила в таком маленьком животном! Я, конечно, уже слышал его раньше!

— Нет, это мычат коровы,—объявила маленькая судомойка.—До места еще очень далеко.—Потом в болоте заквакали лягушки.

— Восхитительно!—заметил китайский придворный жрец.—Теперь я его слышу: совершенно как церковные колокола!

— Нет, это лягушки,—возразила маленькая судомойка.—Но вскоре, я думаю, мы услышим и соловья!—В эту минуту запел соловей.—Вот он!—вскричала девочка.—Слушайте, слушайте! Вон он сидит!—И при этом она указала на маленькую серую птичку, сидевшую на ветке.

— Мыслимо ли?—проговорил камергер;—я никогда не представлял себе его таким! Как он невзрачен! Он наверное побледнел оттого, что увидел столько знатных особ!

— Соловушка!—громко закричала судомойка,—наш всемилостивейший император желает, чтобы ты пел перед ним!

— С величайшим удовольствием!—отвечал соловей, и запел так, что слушать его было одно наслаждение.

— Звенит совершенно как стеклянные колокольчики!—объявил камергер.—Вы посмотрите, как раздается это крохотное горлышко!

— Удивительно, как мы раньше его не слыхали! Он будет иметь большой успех при дворе!

— Не спеть ли еще императору?—спросил соловей, полагавший, что император находится здесь.

— Мой славный, дорогой соловей!—проговорил камергер.—Имею честь пригласить вас сегодня на придворный праздник, где вам предстоит обворожить его императорскую милость своим чарующим пением!

— Лучше всего мне поется в зелени,—возразил соловей; но отправился с ними, когда услышал, что таково желание императора.

В замке все было убрано по-праздничному. Стены и пол, сделанные из фарфора, сверкали в блеске нескольких тысяч золотых ламп; прелестнейшие цветы, умевшие издавать громкий звон, были расставлены в коридорах. По коридорам бегали люди и тянул сильный сквозняк, и колокольчики непрестанно звенели, так что нельзя было расслышать даже собственного голоса.

Посреди зала, в котором сидел император, была водружена золотая колонка, на которой должен был

сидеть соловей. Сюда собрался весь двор, а маленькая судомойка получила позволение стоять за дверьми, так как ей дан был теперь титул «действительной придворной судомойки». Все были в праздничных нарядах, и все глядели на маленькую серую птичку, которой кивал император.

Соловей пел так сладко, что слезы подступили к глазам императора. Слезы текли по его щекам,—и соловей запел еще лучше, трогая слушателей до глубины сердца. Император был так доволен, что повелел нацепить соловью на шею золотую туфлю; но соловей благодарил, уверяя, что он и так вполне награжден.

— Я видел слезы в глазах императора: это лучшее сокровище для меня! Слезы императора обладают чудесной силой. Бог видит, что я вполне награжден!—И он запел опять своим сладким, волшебным голоском.

— Какое милое кокетство!—объявили стоявшие вокруг дамы и набрали в рот воды, чтобы хлопать, когда с ними заговорят. Они вообразили себя соловьями... Даже лакеи и горничные изъявили свое полное удовольствие,—а это много значит, ибо на них всего труднее угодить! Да, соловей бесспорно имел успех!

Отныне ему надлежало жить при дворе, иметь собственную клетку и пользоваться правом улетать на свободу два раза в день и один раз ночью. Его должны были сопровождать двенадцать слуг, державших его за шелковую ленточку, привязанную к одной из его ножек. Правда, он получал мало удовольствия от таких прогулок.

Весь город только и говорил, что о замечательной птице; если встречались двое знакомых, то один произносил: «соло», а другой—«вей», и они понимали друг друга и начинали вздыхать. По имени соловья были названы

одиннадцать маленьких разносчиков, хотя ни один из них не умел петь.

В один прекрасный день императору принесли большую посылку, на которой было написано «Соловей». — Вот новая книга о нашей знаменитой птице! — проговорил император. Но это была не книга, это было маленькое произведение искусства: в ларце лежал искусственный соловей, который умел подражать живому, но весь был осыпан бриллиантами, рубинами и сапфирами. Когда искусственную птицу заводили, она начинала петь одну из арий, какие пел настоящий соловей, при этом она поводила вверх и вниз хвостиком и сверкала серебром и золотом. На шее ее висела ленточка, на которой было написано: *«Соловей императора японского — нищий пред соловьем императора китайского»*.

— Какая прелесть! — объявили все; а тот, который принес искусственную птицу, сейчас же получил титул императорского главного поставщика соловьев.

— Ну, пусть они споют вместе, — посмотрим, что будет за дуэт!

Их заставили петь вместе, но дело не ладилось, так как настоящий соловей пел на свой лад, а искусственная птица сбивалась на вальсы.

— Она не виновата, — объявил заведующий придворной музыкой, — она поет в такт, совершенно в духе моей школы!

Заставили петь одну искусственную птицу. Она имела такой же успех, как настоящая, и притом на нее приятней было смотреть: она сверкала не хуже запястий и брошек.

Тридцать три раза подряд она исполнила одну и ту же пьесу, и нисколько не утомилась. Публика с удоволь-

ствием послушала бы ее еще раз, но император пожелал, чтобы и живой соловей что-нибудь спел. Но куда он девался? Никто не заметил, как он вылетел в раскрытое окно, к своим зеленым лесам.

— Это что за шутки?—воскликнул император. И царедворцы стали браниться и утверждать, что соловей крайне неблагодарная тварь.—Лучшая птица осталась ведь у нас!—утешали они себя; и искусственной птице пришлось петь снова—уже в тридцать четвертый раз ту же самую пьесу; но они еще не знали ее хорошо наизусть, так как она была очень трудная. Заведующий придворной музыкой хвалил птицу выше всякой меры и уверял, что она куда лучше настоящего соловья не только по своему наряду и сверкающим бриллиантам, но и по своему пению.

— Видите-ли, милостивые государи, и главное—вы, ваше императорское величество:—у настоящего соловья вы не можете предугадать, что он будет петь, у искусственной же птицы все определено заранее! Она поет так, а не иначе; можно произвести вычисление, можно вскрыть ее, можно доказать присутствие человеческой мысли, показать, как расположены валики, как они действуют и почему один идет за другими...

— Совершенно моя мысль!—подхватили придворные, и заведующий придворной музыкой попросил позволения показать птицу народу в ближайший воскресный день.—Пусть они услышат ее пение!—объявил император. Народ услышал птицу и пришел в такой восторг, словно напился крепкого чаю—вполне китайская манера; все воскликнуло: — О!—и по китайскому обычаю подняли указательный палец в воздух и стали кивать головой. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья,

говорили:—Звучит очень мило и очень похоже, но чего-то... я не знаю, как сказать—чего-то не хватает!

Настоящий соловей был изгнан из земель и царства императора.

Искусственной птице отвели место на шелковой подушке непосредственно возле кровати императора. Все подарки, получаемые ею,—золото и драгоценные камни,—были разложены вокруг, и она получила уже титул «певца императорского ночного столика» с рангом номера первого на левой стороне. Дело в том, что император считал более важной ту сторону, на которой находилось сердце, а сердце у императоров на левой стороне. Заведующий музыкой написал двадцать пять толстых томов об искусственной птице. Это было такое ученое и длинное сочинение из труднейших китайских слов, что все утверждали, будто прочитали эту книгу и поняли,—иначе их бы объявили глупцами и высекли по животу.

Так прошел целый год. Император, двор и все прочие китайцы знали наизусть каждый звук в пьесе искусственной птицы, а потому и ценили ее так высоко; они могли подпевать ей и делали это; а уличные мальчишки распевали: ци-ци-ци, клукк-клукк-клукк! Распевал и император. О, это было божественно! Но в один прекрасный вечер, когда искусственная птица особенно хорошо распелась, а император лежал в постели, слушая ее, внутри птицы раздалось: тррр!.. Потом что-то треснуло. Колеса перестали вертеться, и музыка смолкла.

Император тотчас же соскочил с постели и приказал позвать своего лейб-медика. Но можно ли было помочь делу?

Потом он послал за часовщиком; после долгих расспросов и осмотров часовщик кое-как починил птицу,

но объявил, что ее нужно щадить, потому что валики стерлись, а новых таких же вставить нельзя. Это было большое горе! Искусственную птицу можно было заставить петь только однажды в год, да и то с огромным риском; заведующий музыкой произнес по этому поводу краткую, но высокопарную речь, и уверял, что птица так же хороша, как и прежде. И все согласились, что она так же хороша, как и прежде.

Прошло целых пять лет, и всю страну посетило настоящее горе. В сущности, все очень любили своего императора; а теперь он заболел и, по слухам, дни его были сочтены. Был уже избран новый император, народ толпился на улицах и спрашивал камергера, как себя чувствует старей.

— П!..—объявлял тот и качал головой.

Бледный и похолодевший, лежал император на своей огромной, пышной кровати; придворные сочли его умершим и побежали приветствовать нового императора: камердинеры собрались посудачить, а служанки в замке вели бесконечные разговоры за кофеем. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шагов, и потому всюду было тихо-тихо. Но император не был мертв. Бледный и окоченелый, лежал он на роскошной кровати за длинными, шелковыми занавесками с тяжелыми шелковыми кистями. Вверху было раскрыто окно, и луна освещала императора и искусственную птицу.

Бедный император едва дышал, словно его грудь придавил тяжелый груз. Он раскрыл глаза и увидел, что на его груди сидит Смерть. Она надела на себя золотую корону и держала в одной руке золотую шпагу императора, а в другой—его пышное знамя. Из складок бар-

хатной занавески выглядывали странные образы—одни отвратительные, другие кроткие и ласковые. Все это были дурные и хорошие дела императора, смотревшие на него теперь, когда Смерть сидела на его сердце.

— Помнишь ли ты это?—шептали они один за другим.—А помнишь ли ты это?—И они столько рассказывали ему, что пот выступил у него на лбу.

— Я этого никогда не знал!—вздыхнул император.—Музыку сюда, музыку! Большой китайский барабан, чтобы я не слышал, что они говорят.

Но они не умолкали, а Смерть, как китаец, кивала головой, поддакивая всему, что они говорили.

— Музыку, музыку!—кричал император.—О ты, маленькая, золотая птичка, пой же, пой! Я дал тебе золото и драгоценности, я сам повесил тебе на шею мою золотую туфлю,—пой, пой же, пой!

Но птица молчала: ее некому было завести, а иначе она не умела петь. Смерть продолжала глядеть на императора своими огромными, пустыми глазами, и кругом царил тишь, страшная тишь.

И вдруг у самого окна раздалось восхитительное пение. Это был маленький живой соловей, сидевший на ветке; он прослышал о беде императора и прилетел вдохнуть в него надежду и утешение. По мере того, как он пел, призраки все более и более бледнели, кровь все быстрее текла в ослабевшем теле императора, самая Смерть заслушалась и говорила: — Продолжай, соловушка, продолжай!

— Хорошо; но ты отдай мне великолепную золотую шагу, отдай мне богатое знамя и корону императора!

И Смерть отдавала по сокровищу за каждую песню, а соловей не уставал петь. Он пел о тихом кладбище,

где расцветают белые розы, где благоухает сирень, и свежая трава орошается слезами живых. Смертью овладела тоска по своему саду, и она холодным белым облачком выскользнула в окошко.

— Благодарю, благодарю! — проговорил император.—О, ты, небесная птичка, я хорошо знаю тебя! Я изгнал тебя из своих земель и державы, а ты своею песнью отогнала от моего ложа злых духов, сняла с моего сердца Смерть! Чем наградить тебя?

— Ты уже наградил меня!—ответил соловей.—Твои глаза были полны слез, когда я в первый раз пел тебе! Этого я не забуду никогда! Ибо это—сокровище, от которого сладко делается сердцу певца. Но ты усни и проснись бодрым и здоровым! Я тебя убаюкаю!

Он цел, а император погрузился в сладкий сон—тихий, укрепляющий сон.

Солнечные лучи упали на него из окна, и он проснулся сильным и здоровым. Никого из слуг еще не было, ибо его почитали умершим; но соловей сидел возле и распевал.

— Ты должен остаться у меня навсегда!—объявил император.—Пой, когда хочешь, а искусственную птицу я разобью на тысячу кусков!

— Не делай этого,—ответил соловей.—Все хорошее, что она могла сделать, она уже сделала! Храни ее по-прежнему; я не могу жить в замке; но ты позволь мне прилетать, когда мне самому этого захочется. Я буду сидеть по вечерам на ветке у окна и петь тебе, чтобы ты всегда был весели разсудителен. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, буду петь обо всем дурном и хорошем, что от тебя скрывают! Маленькая певчая птица летает далеко, повсюду: и к бедному рыбаку, и на кровлю

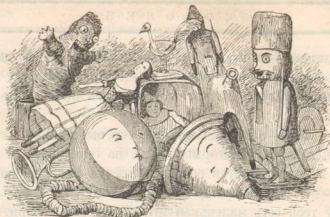
поселянина—ко всем, кто далек от тебя и твоего двора! Я люблю твое сердце больше твоей короны. Я буду прилетать, я буду тебе петь, но ты должен мне обещать кое-что...

— Все!—воскликнул император, выпрямился в своем царском наряде, который он сам на себя надел, и прижал к груди, против сердца, тяжелую золотую шпагу.

— Об одном прошу я тебя: никому не рассказывай, что у тебя есть маленькая птица, которая говорит тебе обо всем,—так будет лучше!

С этими словами соловей улетел.

Слуги вошли, чтобы взглянуть на своего мертвого императора... Они остолбенели от изумления, а император говорил им:—С добрым утром!..



СТАРАЯ ЛЮБОВЬ.

Волчок и мяч лежали в одном ящике вместе с прочими игрушками. И сказал волчок мячу:—Не сделаться ли нам женихом и невестой, раз мы уже лежим в одном ящике?

Но мяч, который был шит из сафьяна и воображал себя знатной барышней, даже не ответил ему.

На следующий день пришел маленький мальчик, которому принадлежали игрушки; он выкрасил волчок красным и желтым и забил в него медный гвоздь; было так занятно смотреть, как волчок вертелся!

— Смотрите на меня!—сказал он мячу.—Что вы теперь скажете? Не сделаться ли нам женихом и невестой? Мы теперь так под стать друг-другу: вы прыгаете, а я танцую! Счастливее нас не найти пары!

— Вы думаете?—проговорил мяч.—Вы, как видно, не знаете, что моим отцом и матерью была сафьяновая туфля, и что у меня в теле пробка!

— Да, но я сделан из красного дерева!—отвечал волчок.—Сам бургомистр выточил меня; у него имеется токарный станок, и для него это было большим удовольствием...

— Можно ли вам довериться?—спросил мяч.

— Чтобы мне никогда не пробовать кнута, если я лгу!—побоялся волчок.

— Да, вы очень хорошо о себе отзываетесь,—продолжал мяч.—Но я не могу: я почти что помолвлена с ласточкой. Каждый раз, как я улетаю вверх, она высывает голову из гнезда и говорит: «Вы согласны? Вы согласны?» И внутренне я ответила «да». А это ведь все равно, что наполовину помолвка! Но я обещаю вам никогда не забывать вас.

— Да, ужасно это мне поможет!—промолвил волчок; и они перестали разговаривать.

На следующий день мяч вынесли во двор; волчок видел, как он высоко взлетал в воздухе, словно птица, он даже исчезал из глаз; каждый раз он падал обратно, но как только касался земли, опять делал высокий скачок; это происходило либо от желания, либо потому, что внутри у него была пробка; на девятый раз мяч запропал и не вернулся; мальчик искал да искал его, но не мог найти.

— Я знаю, где он!—вздыхал волчок;—он в ласточкином гнезде, он обвенчался с ласточкой!

Чем больше волчок об этом раздумывал, тем сильнее он влюблялся в мяч; именно потому, что он не мог получить его, любовь его усиливалась; то, что мяч достался другому—было всего обиднее; волчок плясал и жужжал, но не переставал думать о мяче, который в воображении его становился все прекраснее и прекраснее. Так прошло много лет... и любовь устарела!

И волчок уже был не молод!.. Но в один прекрасный день его с ног до головы позолотили; никогда он еще не был так красив: теперь он стал золотым волчком и выплясывал так, что от его жужжания стон стоял в доме.

Да, это была жизнь!—Но вдруг он как-то подскочил черезчур высоко и... исчез!

Его стали разыскивать, пошли даже в погреб, но и там не нашли. Куда же он девался? Он прыгнул в сорный ящик, где лежали всякого рода отбросы, капустные кочерыжки, сор и всякого рода дрянь, смытая с крыши.

— Хорошо же я влопался! Здесь позолота скоро сойдет с меня; и что это за голытьба, в среду которой я попал!—И он покосился на длинную капустную кочерыжку, которая лежала около него, и на странный круглый предмет, похожий на старое яблоко. Но это было не яблоко—это был старый мяч, который много лет пролежал в водосточной трубе и насквозь пропитался водой.

— Слава богу! Наконец, есть особа моего общества, с которой можно побеседовать!—проговорил мяч и стал присматриваться к золоченому волчку.—Я собственно из сафьяна, шита барышенскими руками, и в теле у меня пробка, хотя этого снаружи и не видно. Я чуть-было не обвенчалась с ласточкой, но упала в водосточный жолоб, пролежала здесь пять лет и насквозь промокла! Это большой срок для девицы, можете мне поверить!

Но волчок ничего не ответил; он вспомнил свою старую невесту, и чем больше он слушал, тем яснее ему становилось, что это она. Тут вошла служанка, с намерением опрокинуть мусорный ящик и выгрести сор.

— Ура! Золотой волчок нашелся!—воскликнула она. И волчок опять попал в комнаты, попал в великую честь и славу, о мяче же ничего не было слышно, да и волчок больше не заговаривал о своей старой любви; она кончается, когда невеста пролежит лет с пяток в водосточном жолобе и насквозь промокнет. И ее уже не узнают, встречая в мусорном ящике...



ГАДКИЙ УТЕНОК.

Как хорошо было за городом; стояло лето! Рожь желтела, овес зеленел, сено стояло стогами на зеленых лугах; а по лугу расхаживал аист на своих длинных красных ногах и болтал по-египетски, потому что этому языку он научился от своей матери. Луга и поля были окружены большими лесами, а в лесах лежали глубокие озера; поистине восхитительно было за городом, в деревне! На самом солнечном припеке лежал старое имение, обведенное глубокими рвами, от стен его и до самой воды росли огромные лопухи, да такие высокие, что маленькие дети могли под ними стоять во весь рост; там было дико, как в лесной чаще, и в уголке утка сидела на своем гнезде; она высидывала утят, но ей порядком надоело это, потому что сидела она давно, и гости редко к ней приходили; прочие утки больше любили плавать в каналах, чем сидеть под лопуховым листом и растабарывать с нею.

Наконец, яйца стали лопаться одно за другим. «Пип-пип!» раздалось из них, все яичные желтки ожили и высунули головки.

— Рап-рап!—ответила утка. Утята проворно вылупились и стали оглядываться во все стороны под зеленым листом, и мать позволила им глядеть, сколько душе угодно, потому что зеленый цвет полезен для глаз.

— Как же огромен свет!—говорили утята; теперь, разумеется, им было куда просторнее, чем когда они лежали в яйце!

— Вы думаете, что это весь свет?—сказала мать;—он тянется по ту сторону сада, далеко, до поповской пашни! Но там я и сама никогда не бывала. Ну, вот вы и все вместе!—и она поднялась.—Нет не все, самое большое яйцо еще лежит, как долго оно высиживается! Право, мне это скоро надоест совсем!—И она опять села на яйцо.

— Ну, как делишки?—спросила старая утка, пришедшая навестить ее.

— Ужасно долго тянется дело вот с этим яйцом!—отвечала утка, сидевшая на яйце.—Никак не вылупится. Но вы посмотрели бы на других—это чудеснейшие утята, каких я только видела в жизни! Все они похожи на своего отца, а он, негодник, даже не является навестить меня!

— А ну, покажи-ка мне яйцо, которое не хочет вылупиться!—сказала старая утка.

— Можешь мне поверить, это индюшечье яйцо! Меня тоже раз одурачили этак, и немало я натерпелась хлопот с моими птенцами, потому что индюки боятся воды! Можешь мне поверить, я просто не могла загнать их в воду! И топала, и хлопала, но это не помогало делу!—Ну, покажи-ка яйцо! О, да это индюшечье, брось высиживать его и учи остальных детей плавать!

— Нет, я уж посижу немножко,—ответила утка;—уж раз я столько сидела, то могу и еще немножко посидеть!

Наконец, лопнуло и большое яйцо. «Пип-пип!» проговорил птенец и выкарабкался из скорлупы; он оказался большим и безобразным. Утка поглядела на него:—Какой огромный утенок!—промолвила она.—Ни один на него не похож! Да он, пожалуй, никогда не будет и индюшонком; впрочем, мы это скоро увидим. Он войдет в воду, хотя бы мне пришлось самой столкнуть его!

На следующий день выпала чудесная, восхитительная погода; солнце ярко озаряло зеленые лопухи. Утиная мамаша со всем своим семейством пошла к каналу. Шлеп!—и она прыгнула в воду. «Рап-рап»,—проговорила она, и утята один за другим поскакали за нею; вода покрыла их с головой, но они очень скоро выплыли и так чудесно начали плавать; ножки их работали сами собой, все были на воде, даже безобразный серый птенец плавал вместе с прочими.

— Нет, это не индюшонок,—говорила утка;—смотрите, как отлично работает он ногами, как прямо держится; это мое родное дитя! В сущности, он ведь очень хорош собой, если хорошенько приглядеться! Рап-рап. Ну, пойдемте со мной, я вас выведу в свет и представлю вас на утином дворе; но держитесь поближе ко мне, чтобы никто на вас не наступил, и в особенности берегитесь кошки!

И вот пошли они на утиный двор. Там стоял отчаянный гвалт; два семейства дрались между собой из-за головки угря,—а досталась она кошке.

— Да, хорошо жить на белом свете!—проговорила утиная мамаша и облизала языком клюв, потому что ей самой очень хотелось получить головку угря.

— Действуйте же ногами!—проговорила она;—смотрите, расшаркайтесь и понижее поклонитесь вон той старой утке; она знатнее всех на этом дворе! Она испанской крови, поэтому-то она так толста; видите, у нее красная тряпочка вокруг ноги? Это очень нарядно и является величайшим отличием, какое только может получить утка. Это значит, что с нею не хотят расставаться, и что ее должны отличать и животные и люди!—Шаркните ножкой и не загибайте лапок внутрь, благовоспитанный утенок широко расставляет ноги, как это делают отец и мать—вот так, смотрите! Ну, теперь наклоните голову и скажите:—Рап!

Так утята и сделали; но прочие утки, окружавшие их, смотрели и говорили вслух:

— Смотрите, еще одна шайка появилась, как-будто нас здесь мало! Фи, как безобразен этот утенок, мы его не потерпим!—И одна утка сейчас же подлетела к утенку и укусила его в затылок.

— Оставь его в покое!—проговорила мать.—Он ведь никому не делает вреда!

— Да, но он такой большой и чудной,—отвечала утка, укусившая утенка,—а потому его надо прогнать.

— Красивые дети у этой матери!—промолвила старая утка с тряпочкой на ноге.—Все они хороши собой, кроме одного, который не удался! Я бы желала, чтобы он исправился!

— Это невозможно, ваша милость!—проговорила утинная мамаша.—Он некрасив, но у него очень добрый нрав, а плавает он так же хорошо, как и прочие. Я даже позволю себе сказать—лучше прочих! Я думаю, что когда он вырастет, то похорошеет или, по крайней мере, с течением времени станет меньше. Он слишком долго про-

лежал в яйце, а поэтому не получил настоящего вида.—И она ущипнула его в затылок и погладила по головке.

— К тому же он селезень,—продолжала она,—и для него это не так важно. Я думаю, он будет сильный, он пробьет себе дорогу.

— А прочие утята премилые!—сказала старуха.— Ну, будьте как дома; а если вы найдете головку угря, вы можете принести ее мне!

И они почувствовали себя, как дома. Но бедного утенка, который последним вылупился из яйца и имел такой безобразный вид, со всех сторон клевали, толкали и высеивали и утки, и куры.—Он чересчур велик!—говорили все; а индейский петух, который родился со шпорами и потому вообразил себя императором, надулся, как парус, подбежал к утенку, заболтал, и голова у него страшно покраснела. Бедный утенок не знал, куда деваться, его так удручало, что он безобразен и служит посмешищем всего утиного двора.

Так прошел первый день, и с каждым днем становилось все хуже. Все гнали бедного утенка, даже его собственные братья и сестры дурно относились к нему и постоянно говорили:—Хоть бы кошка тебя съела, мерзкий урод!—И мать говорила:—Убрался бы ты куда-нибудь подальше!—Утки кусали его, куры клевали, а девочка, задававшая корм птице, пнула его ногой.

Утенок побежал по двору и перелетел через забор; птички, сидевшие в кустах, с испугом поднялись в воздух.—Это потому, что я так безобразен!—подумал утенок и закрыл глаза, но тотчас же побежал дальше; он попал в большое болото, где жили дикие утки. Там он пролежал всю ночь, измученный и убитый горем.

Утром дикие утки взлетели и увидали нового товарища.—Ты кто такой?—спросили они, а утенок вертелся во все стороны и раскланивался, как умел.

— О, как ты безобразен!—говорили дикие утки.— Но нам это все равно, если только ты ни с кем не обвенчаешься из нашего рода!—Бедняжка, он, понятно, и не думал о браке; только бы ему позволили полежать в камышах и напиться болотной воды!

Так он пролежал целых два дня, а потом прилетело двое диких гусей; они совсем недавно вылупились из яиц, и были очень резвы.

— Слушай, товарищ!—промолвили они.—Ты так безобразен, что не можешь нам ни в чем помешать. Хочешь жить с нами и быть перелетной птицей?—Вон там, на другом болоте, живут хорошенькие гусыни, все они барышни, они умеют говорить «Рап!» Ты можешь сделать свое счастье, как ты ни безобразен...

— Пиф! Паф!—послышалось сверху, и в тот же самый миг оба гуся пали мертвыми в камыши, а вода окрасилась кровью.—Пиф-паф!—раздалось снова, целые полчища диких гусей взлетели над камышами, и опять раздались выстрелы; это была большая охота. Охотники обложили болото, некоторые даже засели на деревьях, далеко протянувших свои сучья над камышом; сизый дым облаками носился среди высоких деревьев и стлался над водой, по трясине шлепали охотничьи собаки—шлеп, шлеп! Камыши и тростники колыхались во все стороны, это был сущий ад для бедного утенка, который завернул голову, чтобы положить ее под крыло; в то же мгновение перед ним очутилась огромная, страшная собака, язык ее далеко выеунулся из пасти, а глаза злобно сверкали; она протянула морду прямо

к утенку, показала острые зубы и—шлеп!—ушла, не тронув его.

— О, благодарение богу!—вдохнул утенок;—я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он смиренненько лежал на своем месте, а дробь шумела в камышах, и выстрел гремел за выстрелом. Только к полудню на болоте затихло, но бедный утенок не решался подняться и пролежал еще несколько часов, и потом лишь огляделся; он побежал с болота во всю свою мочь. Он бежал по полям и лугам, но дул сильный ветер, ему трудно было двигаться.

К вечеру он добрался до убогой избушки; она была так ветха, что сама не знала, в какую сторону ей упасть, и потому стояла. Ветер так яростно дул, что утенок должен был сесть на хвост, чтобы удержаться на месте; непогодь становилась все хуже; утенок заметил, что дверь соскочила с одной петли, и так покосилась, что сквозь щель можно было проскользнуть в комнату; так он и сделал.

Там жила старушка со своим котом и курицей; кот, которого звали «Сынок», умел выгибать спину и мурлыкать и даже пускал искры, когда его гладили против шерсти; у курицы были крохотные низкие ножки, и поэтому ее звали «Кюкелилавбен»—«Кудах-кудах-коротышка»; она хорошо несла яйца, и старушка любила ее, как родное дитя.

Утром они тотчас же заметили чужого утенка, и кот принялся мурлыкать, а курица кудахтать.

— Что за притча?—промолвила старуха, и стала оглядываться; но у нее было плохое зрение, и поэтому она приняла утенка за жирную утку, которая заблудилась.—Вот редкая находка!—промолвила она.—Теперь

у меня будут утиные яйца; лишь бы только это не оказался селезень—но мы это узнаем!—И вот утенок был оставлен на пробу на три недели; но утиные яйца не появлялись. Кот был хозяином дома, а курица чувствовала себя хозяйкой, и они всегда говорили «Мы и свет», потому что считали себя половиной света, и притом лучшей. Утенку казалось, что на этот счет можно быть иного мнения, но курица этого не терпела.

— Можешь ты нести яйца?—спрашивала она.—Нет? Ну, так придержи язык!

А кот спросил утенка:—А ты можешь выгибать спину, мурлыкать и пускать искры?

— Нет? Стало-быть, ты не должен иметь своего мнения, когда говорят разумные особы!

Утенок забился в угол в дурном расположении духа; он начал думать о свежем воздухе, о солнечном сиянии; ему так захотелось вдруг поплавать по воде, что он, наконец, не вытерпел и сказал об этом курице.

— Что это с тобой?—спросила она.—Тебе нечего делать—вот почему на тебя и находит блажь. Клади яйца или мурлыкай, и все пройдет!

— Но ведь это так приятно—плавать по воде!—говорил утенок.—Так приятно чувствовать ее над головой и нырять до самого дна!

— Нечего сказать, милое удовольствие!—проговорила курица.—Да ты с ума сошел! Спроси хоть кота, он самый умный малый из всех, кого я знаю; спроси, любит он плавать или нырять—о себе я уж не говорю! Спроси, наконец, нашу хозяйку, старуху, умней которой нет никого на свете! Думаешь ли ты, что ей хочется плавать и окунуться в воду с головой?

— Ты меня не понимаешь!—настаивал утенок

— Ну, уж если мы тебя не понимаем, то кто же тебя поймет! Ты, конечно, никогда не будешь умнее кота или старушки, не говоря уж обо мне! Не капризничай, дитя мое, и будь благодарен за все, что для тебя сделали. Не попал ты разве в теплую комнату, и не возвращаешься ли ты в обществе, в котором можешь кой-чему поучиться? А ты мелешь вздор, с тобой совсем невесело. Поверь, я желаю тебе добра: я говорю тебе неприятные вещи, а этим и познаются истинные друзья. Смотри же, начини класть яйца или научись мурлыкать или пускать искры!

— Мне кажется, я пойду по белу свету!—говорил утенок.

— Сделай одолжение!—ответила курица.

И утенок ушел; он плавал по воде, нырял, но прочие твари сторонились его из-за его безобразия.

И вот настала осень. Листья в лесах пожелтели и побурели, их подхватывал ветер, так что они плясали в воздухе, наступили холода; тяжелые тучи сыпали град и снежные хлопья, а на заборе стоял ворон и от холода кричал «кра!-кра!» Право, можно было замерзнуть от одного этого. Бедному утенку пришлось круто!

Однажды вечером, в прекрасный час заката, из кустов вышло целое стадо красивых больших птиц. Утенок никогда не видал таких прекрасных созданий: у них были длинные гибкие шеи, и все они были белы, как снег. Это были лебеди; они испустили странный крик, взмахнули своими великолепными большими крылами и полетели из холодных краев в жаркие страны над океаном; они поднялись высоко, так высоко, что у безобразного утенка явилось какое-то странное ощущение в сердце; он завертелся в воде колесом, протянул к лебедям шею и испустил такой громкий и такой странный крик, что сам испугался

его. О, он не мог забыть чудесных, счастливых птиц, и как только они скрылись из его глаз, он нырнул до самого дна, а когда вынырнул на поверхность, то был сам не свой. Он не знал, как называются эти птицы и куда они улетели, но любил их так, как никогда еще никого не любил; он несколько им не завидовал—да и как могло ему придти в голову пожелать себе такой же красоты! Он был бы рад, если бы хоть утки терпели его в своей среде; бедный гадкий утенок!..

А зима была так холодна, страшно холодна! Утенку непрерывно приходилось плавать, чтобы не замерзнуть совсем; каждую ночь полынья, по которой он плавал, становилась все меньше и меньше; мороз был такой, что лед на пруду стрелял; утенку приходилось непрерывно работать ногами, чтобы лед не сковал его; наконец, он изнемог, стал неподвижен, и крепко примерз ко льду.

Рано утром мимо проходил крестьянин; он увидел утенка, подошел ближе и своими деревянными башмаками разбил лед и отнес утенка к своей жене. Там он ожил.

Дети хотели поиграть с ним, но утенок думал, что его хотят обидеть, и он в испуге бросился в крынку с молоком, молоко так и брызнуло по комнате; хозяйка закричала и замахала руками, утенок бросился в корыто, где находилось масло, а потом в кадку с мукой. Какой он вышел оттуда! Женщина кричала и запустила в него щипцами, дети бегали, сломя голову, по комнате, ловили утенка, хохотали и кричали; хорошо, что дверь была отперта: он полетел в кусты, на только что выпавший снег, и там оцепенел.

Но было бы слишком тяжело рассказывать обо всей нужде и бедствиях, которые ему пришлось испытать этой зимой... Он лежал в болоте среди камышей,

когда солнце снова пригрело; запели жаворонки—наступила весна!

И он разом поднял свои крылья—они зашумели сильнее, чем когда-либо, и с силой подняли его с места; и прежде чем он понял, в чем дело, он очутился в огромном саду, где яблони стояли в цвету и благоухала сирень, висевшая на длинных зеленых ветвях, прямо над широкими каналами. О, как там пахло весной, как там было хорошо! Из чащи кустов вышли три прекрасных белых лебедя, они раздули свои перья, и легко поплыли по воде. Утенок узнал прекрасных птиц, и непостижимая тоска сжала его сердце.

— Я полечу к ним, к этим царственным птицам, и пусть они заклюют меня до смерти за то, что я, такой безобразный, посмел приблизиться к ним. Лучше быть убитым ими, чем искусаным утками, исклеваным курами, терпеть пинки от служанки, присматривающей за птичьим двором, и страдать зимой!—Он спустился на воду и поплыл к прекрасным лебедям, те увидели его и устремились к нему, распутив перья.—Убейте же меня! — проговорила бедная птица, поникла головой к водяной поверхности—и что же она увидала в чистой воде? Она увидала под собой свое изображение, но это уже была не мешковатая серая птица, безобразная и уродливая—это был лебедь!

Не такая уж беда родиться на утином дворе, когда лежишь в лебедином яйце!

Лебедь радовался теперь всем бедствиям и унижениям, через которые ему пришлось пройти; теперь он чувствовал только свое счастье, видел только красоту, которая ему улыбалась. А взрослые лебеди плавали вокруг него и гладили его клювами.

В сад прибежало несколько маленьких детей; они стали бросать в воду хлеб и зернышки; самый младший крикнул:

— А вот и новый!—И другие дети ликовали вместе с ним:—Да тут появился новый!—Они хлопали в ладоши и плясали, звали отца и мать, бросали в воду хлеб и пирожное, и говорили наперебой:—Новый—прекраснее всех; какой он молодой, какой прелестный!—И старые лебеди склонились перед ним.

Он почувствовал себя совершенно счастливым и завернул голову назад под крыло, сам не зная почему; он слишком был счастлив. Но он не возгордился, ибо доброе сердце не знает гордости; он думал о том, как его преследовали, как над ним издевались,—а теперь все говорят, что он прекраснее всех прекраснейших птиц. И сирень склоняла свои ветви прямо к нему в воду, солнце ласково и тепло грело; лебедь распустил перья, гибкая шея поднялась, и из его груди вырвался ликующий крик:—О таком счастье я и не грезил, когда был гадким утенком!





Е Л К А.

В лесу стояла прехорошенькая елка; она стояла в удобном месте под лучами солнца, воздуху было достаточно, а вокруг нее росло много старших товарищей—и елей, и сосен. Но маленькая елочка торопилась поскорей вырасти; она не замечала ни теплого солнца, ни свежего воздуха, и нисколько не интересовалась крестьянскими детьми, которые ходили по лесу и разговаривали, собирая землянику или малину. Часто они приходили с полной кружкой ягод или приносили их на соломке, останавливались около деревца и говорили:—Ах, какая чудесная маленькая елочка!—Этого деревцо и слышать не хотело!

Через год оно стало длиннее на одно колено, а еще через год еще больше вытянулось; по числу колен на стволе елки всегда можно узнать, сколько ей лет.

— О, если б я была большим деревом, как прочие,—вздыхала елочка;—я могла бы широко-широко раскинуть мои ветви, а вершиной смотреть на белый свет! Птицы вили бы гнезда на моих сучьях, и в бурю я могла бы так же важно раскланиваться, как и другие!

Ее мало радовал солнечный свет, птицы и алые розовые облака, утром и вечером проплывавшие над нею.

Когда наступила зима, и кругом сверкал белый снег, пробежал какой-нибудь зайчик и перепрыгивал через маленькое деревцо,—ах, это было так обидно! Но вот прошло две зимы, и на третью елочка так уже выросла, что зайцам пришлось обходить ее.—Ах! расти, расти, сделаться большой и взрослой, лучше этого ничего не может быть на свете!—думало дерево.

Осенью являлись дровосеки и срубали большие деревья; это случалось каждый год, и молодая елка, которая теперь уже порядочно подросла, дрожала, когда огромные пышные деревья с треском и грохотом падали наземь; с них обрубали сучья, и они делались совершенно голыми, длинными и узкими; их почти невозможно было узнать; а потом их клали на телегу, и лошади увозили их из лесу.

— Куда они деваются, что им предстоит?

Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елка спросила их:—Вы не знаете, куда их отвезли? Вы не встречали их?

Ласточки ничего не знали, но аист задумался, покивал головой и промолвил:—Да, я думаю, это они! Я встретил много новых кораблей, когда летел из Египта, на кораблях возвышались чудесные мачты; полагаю, что это были они, они пахли хвоей; могу передать тебе от них поклон.

— Ах, если бы я настолько подросла, чтобы полететь за море! А что же это такое море, и на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать!—промолвил аист и улетел.

— Радуйся своей молодости!—говорили солнечные лучи.—Радуйся своему здоровому росту и молодой жизни, которая бродит в тебе!

И ветер целовал дерево, а роса проливалась над ним свои слезы, но дерево этого не понимало.

Когда время подошло к Рождеству, люди начали срубить совсем молодые деревья; ни ростом, ни годами они не сравнялись бы даже с этой елкой, которой так не терпелось уйти со своего места; этим молодым деревьям—а они были самые красивые!—оставили их ветви, положили на сани, и лошади потащили их из лесу.

— Куда их везут?—спрашивала елка;—они не больше меня, а вон елка даже гораздо меньше меня! Почему на них остались ветки, куда они едут?

— Мы это знаем! Мы это знаем!—чирикали воробьи.—Мы были в городе, мы заглядывали в окна, мы знаем, куда они едут! О, они попадут в величайшую честь и богатство, какое только можно вообразить! Мы заглядывали в окна и видели, что их сажают посреди теплой комнаты и украшают самыми восхитительными вещами, золочеными яблоками, пряниками, игрушками, и целыми сотнями свечей!

— А потом?..—спросила елка и задрожала всеми ветками.—А потом? Что происходит с ними потом?

— Больше мы не видали; но это было нечто необыкновенное!

— Может-быть, и я оставлена для того, чтобы тоже пойти по этому блестящему пути!—ликовала елка.—Это еще лучше, чем поплыть за море! Как я страдаю и тоскую! Ах, если бы скорее Рождество! Теперь я стала высокая и прямая, как прочие, которых повезли в прошлом году. О, если бы мне скорее на сани! О, если бы мне

попасть в теплую комнату со всей этой пышностью и великолешием; а потом?.. Да, конечно, будет еще лучше, еще прекраснее; иначе для чего бы меня стали разукрашивать? Придет еще более великое, еще более пышное... Но что именно? Ах, как я страдаю, как я тоскую! Я сама не знаю, что делается со мной!

— Радуйся нам!—говорил воздух и солнечный свет.— Радуйся своей юности и свежести, и здешнему простору!

Но елка не радовалась; она росла да росла, зимой и летом она оставалась темно-зеленой. Люди, видевшие ее, говорили:—Ах, какое чудесное дерево!—И к Рождеству ее срубили прежде всех остальных. Топор глубоко врезался в ее сердцевину, елка упала на землю со вздохом, она почувствовала боль и изнеможение и уже не думала ни о каком счастье: ей тяжело будет расстаться с домом, с тем местом, на котором она выросла; елка знала ведь, что она больше никогда не увидит милых, старых товарищей, цветы и кусты, окружавшие ее, может быть, не увидит и птиц. Уезжать вовсе не так приятно...

Елка пришла в себя только во дворе, когда ее распаковали вместе с другими деревьями, и какой-то господин сказал:—Великолепно, нам другой и не надо!

Вышли два лакея в ливреях и понесли елку в огромный прекрасный зал, где на стенах висели портреты, а у большой изразцовой печки стояли большие китайские вазы с львами на крышках; там были кресла-качалки, обитые шелком, диваны, огромные столы, на которых навалены были книжки с картинками и игрушками на много сотен ригсдалеров—так, по крайней мере, говорили дети. Елку водрузили в большую бочку, наполненную песком, но никто не знал, что это бочка, потому что ее обернули зеленым сукном и поставили на большой

пестрый ковер. О, как трепетала елка: что же теперь будет? Слуги и барышни ходили и убирали ее. На ветвях они повесили мешочки из цветной бумаги; каждый мешочек был наполнен сладостями; они развешивали золоченые яблоки и орехи, и казалось, что те растут на елке, а на ее ветках они укрепили сотни красных, синих и белых свечек. В зелени дерева раскачивались куклы, похожие на живых людей—елка никогда не видала их; а на самом верху, на вершине была прикреплена большая звезда из мишурного золота; это были пышность и великолепие, не передаваемые словами.

— Нынче вечером,—говорили они все,—нынче вечером тут будет светло!

— О,—подумала елка,—скорее бы вечер, скорее бы зажигались свечи! Но что же будет потом—не придут ли деревья из лесу любоваться на меня? Может-быть, воробьи прилетят к окнам? Может-быть, я здесь прирасту к месту, буду стоять, разукрашенная, зимою и летом?—Да, елка не знала того, что ее ожидало; но от тоски и желанья у нее заболела кора—а боль коры для дерева то же самое, что головная боль для людей.

И вот зажглись свечки: какой блеск, какое великолепие! Елка затрепетала всеми своими ветками, так что одна из свечек подохла; елка; дерево запылало.

— Боже милостивый!—закричала горничная, и поскорей затушила огонь.

Теперь елка не смела дрожать. О, как это было ужасно; она так боялась потерять что-нибудь из своих украшений; она просто была ошеломлена всем этим блеском!.. И вот распахнулись половинки дверей, и целая толпа детей ворвалась в комнату, словно они хотели опрокинуть дерево; взрослые степенно выступали вслед за

ними; совсем маленькие молчали—но только на мгновение; они сейчас же подняли такой радостный визг, что звон пошел кругом; они заплясали вокруг елки и стали сдирать с нее одно украшение за другим.

— Что это они делают?—думала елка.—Что теперь будет?—Свечи догорели до самых веток, и после этого их погасили, а детям позволили разграбить дерево. О, как они накинудись на елку! Все ветки ее так и затрещали, и если бы она не была прикреплена верхушкой и золотой звездой к потолку, то упала бы.

Дети плясали вокруг со своими чудесными игрушками, и никто уже не смотрел на дерево, кроме старой служанки, которая ходила кругом, заглядывая в ветки; но это она делала для того, чтобы убедиться, что ни одной фиги или яблока на елке не осталось.

— Сказку, сказку!—закричали дети и потащили к елке толстого человечка. Он сел прямо под елку:—Так мы будем сидеть в зелени!—промолвил он.—И елка может нас послушать! Но я расскажу только одну сказку. Что вы хотите: сказку об Иведе-Аведе—или о Клумпэ-Думпэ, который полетел с лестницы и все же попал на трон и женился на принцессе?

— Иведе-Аведе!—кричали одни.—Клумпэ-Думпэ!—кричали другие. Поднялись крик и шум, только дерево примолкло и думало про себя:—Неужели я не буду принимать участия, неужели ничего не буду делать?—Но оно приняло участие, и с ним сделалось то, что должно было сделаться.

Толстяк стал рассказывать о Клумпэ-Думпэ, который полетел с лестницы и все же попал на трон и получил принцессу. Дети хлопали ручками и кричали:—Рассказывай об Иведе-Аведе!—Им хотелось услышать и про

Иведе-Аведе, но он рассказал только про Клумпэ-Думпэ. Елка стояла молча и задумчиво—птицы в лесу никогда не рассказывали ничего подобного! Клумпэ-Думпэ полетел по ступенькам—и все-таки получил принцессу!

— Да, да, так оно бывает на свете!—думала елка и верила, что это правда, раз сказку рассказывает такой почтенный господин.—Да, да, кто может знать; может-быть, и я полечу с лестницы и получу принцессу!—И она размечталась о том, что на другой день ее опять украсят цветами и игрушками, золотом и фруктами.

— Завтра я не буду дрожать!—думала она.—Я буду наслаждаться всем моим великолешием; завтра я опять услышу сказку о Клумпэ-Думпэ или, может-быть, и об Иведе-Аведе!—И дерево простояло молча, в задумчивости, всю ночь.

Утром в комнату вошли работник и служанка.

— Ну, опять начинается убранство!—подумала елка; но они потащили ее из комнаты, вынесли по ступенькам вверх на чердак и там поставили в темный угол, куда не проникал дневной свет.

— Что это значит?—думала елка.—Что я здесь буду делать? Что я здесь услышу?—и она прислонилась к стене, стояла, думала да думала... Времени для этого у нее оказалось достаточно! Проходили дни и ночи; никто не являлся на чердак, и когда наконец вошли люди, то лишь для того, чтобы поставить в угол несколько больших сундуков; они совсем закрыли дерево, можно было думать, что елку совершенно забыли.

— Теперь на дворе зима,—думала елка,—земля замерзла и покрылась снегом. Люди не могут посадить меня в землю; вот почему они будут хранить меня здесь до весны! Как предусмотрительны, как добры люди! Если

бы только здесь не было так темно и до жути тоскливо! Даже зайчика нет! Так приятно было в лесу, когда снег лежал кругом, а зайцы бегали мимо; даже когда они прыгали через меня... но в ту пору я этого не любила. А тут такая жуть и тоска!

— Пи-пи-пи!—проговорила маленькая мышка и вышла из тьмы; за нею вышла другая, тоже маленькая, мышка. Они обняхали елку и приотились у нее на ветках.

— Какой страшный холод!—говорили мышки.—А вообще-то жизнь хороша! Неправда ли? Скажи, старая елка!

— Я вовсе не старая!—отвечала елка.—Много есть таких, что гораздо старше меня!

— Откуда ты явилась,—спросили мышки,—и что ты знаешь?—они были страшно любопытны!—Расскажи же нам о самом дивном месте на земле. Была ли ты там? Была ли ты в кладовой, где на полках лежат сыры, а на потолке висят окорока ветчины? Где можно плясать на сальных свечках, и куда входишь тощим, а выходишь жирным?

— Этого я не знаю,—говорила елка,—но я знаю лес, где светит солнце и где распевают птицы!—И она рассказала про всю свою молодость. Мышки никогда не слышали ничего подобного; они внимательно слушали ее и проговорили:—О, как же ты много перевидала! Как ты счастлива!

— Да,—произнесла елка и подумала о том, что сама рассказала;—да, в сущности, это было превеселое время!—Потом она стала рассказывать о рождественском вечере, когда ее украсили пряниками и свечками.

— О,—говорили мышки,—как же ты была счастлива, старая елка!

— Я вовсе не старая!—возразила елка.—Я только этим летом вышла из лесу! Я нахожусь еще во цвете лет, я только теперь начала, как следует, расти!

— Как ты хорошо рассказываешь!—решили мышки, и на следующую ночь они явились с четырьмя другими мышками, которым тоже хотелось послушать рассказы елки; и чем больше она рассказывала, тем отчетливее сама вспоминала свое прошлое, и ей казалось: какие же это были счастливые дни! Но они еще вернутся, они еще вернутся! Вон, Клумпэ-Думпэ полетел по ступенькам вниз,—и все же получил принцессу; может-быть, и я получу принцессу!—И елка размечталась о прехорошенькой березке, которая росла в ее лесу—ведь для елки это была настоящая прелестная принцесса!

— А кто этот Клумпэ-Думпэ?—спросили мышки; и елка рассказала им всю сказку: она помнила ее от слова до слова; и мышки от восторга готовы были побежать на самую вершину елки. На следующую ночь пришло еще много мышей, а в воскресенье даже две крысы; но крысы нашли, что сказка вовсе неинтересна. Это огорчило маленьких мышек, и им она тоже перестала нравиться.

— Ты только одну сказку знаешь?—спросили крысы.

— Только эту одну,—ответила елка,—я ее слышала в самый счастливый вечер моей жизни; но тогда я не принимала, как я была счастлива!

— Это ужасно дурная сказка; не знаешь ли ты какой-нибудь сказки про ветчину и сальные свечи? Какой-нибудь истории из кладовой?

— Нет,—отвечала елка.

— Ну, так покорно благодарим!—ответили крысы и пошли восвояси.

В конце-концов ушли от нее и мыши, и тогда елка стала вздыхать:—Ах, как было хорошо, когда вокруг меня сидели эти славные мышки и слушали мои рассказы! Теперь это кончилось! Но я еще повеселюсь, когда меня заберут отсюда...

Когда же это случилось? Да, наступил-таки один утренний час, когда на чердак явились люди и начали шарить. Вынесли сундуки, взялись за елку—ее, правда, довольно грубо бросили на пол, но тотчас же работник потащил ее на лестницу, где сиял яркий день.

— Опять начинается жизнь!—думала елка; она наслаждалась ощущением свежего воздуха и лаской первых солнечных лучей,—и вот очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, что елка забыла даже оглядеться, а кругом было на что посмотреть! Двор упирался в сад, в котором все цвело; свежие благоухающие розы висели на шпалерах, липы цвели, ласточки летали по саду и приговаривали: «Квирре-вирре-вит, вот мой муж бежит»! Но они имели в виду не елку.

— Теперь-то я заживу!—ликовала елка и попробовала раскинуть ветки; ах, они завяли и пожелтели; она лежала теперь в углу, среди сорной травы и крапивы. Звезда из золотой бумаги еще торчала на ее верхушке и блестела в ярких лучах солнца.

В саду играли двое из веселых детей, которые на Рождестве плясали вокруг елки и так радовались ей. Младший из них подошел и сорвал золотую звезду.

— Смотри, что осталось на мерзкой старой елке!—проговорил он и наступил на ветки, так что они затрепачали под его ногами.

А елка смотрела на всю цветущую роскошь и свежесть зелени в саду, смотрела на себя и жалела, что ее

не оставили в темном углу на чердаке. Елка вспомнила свою свежую юность, свой лес, веселый рождественский вечер и маленьких мышек, которые с таким удовольствием слушали рассказ о Клумпэ-Думпэ.

— Кончилось, кончилось!—говорила бедная елка.— Как я радовалась, когда могла. Конец! Конец!

Пришел работник и порубил елку на мелкие щепки, их получилась целая вязанка; как ярко запылали они под кухонным котлом! Елка глубоко вздыхала, и каждый вздох ее вылетал, как маленький выстрел. Игравшие во дворе дети вбежали в кухню, стали перед огнем, смотрели на него и вскрикивали: «Пиф-паф!» при каждом выстреле—но это были глубокие вздохи. Елка думала о летнем дне в лесу, о зимней ночи, когда сияли звезды; она думала о рождественском вечере и Клумпэ-Думпэ, единственной сказке, которую она слышала и умела рассказывать... Елка сгорела.

Мальчики играли на дворе; у младшего на груди прикреплена была золотая звезда, находившаяся на елке в самый счастливый ее вечер. Теперь все это кончилось и дереву пришел конец, и сказке конец; конец, конец, как всем сказкам!



НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТОРА.

Много лет тому назад жил император; он так любил красивые новые платья, что тратил все свои деньги, лишь бы нарядиться получше. Он не заботился о своих солдатах, знать не хотел театра и пикников *),—разве что нужно было щегольнуть новым платьем. На каждый час дня у него был особый мундир, и как говорят о короле: «король в совете», так о нем всегда говорили: «император в гардеробной» **).

В том большом городе, который служил ему резиденцией ***), жилось очень весело, и каждый день приезжало много иностранцев. Однажды явилось двое обманщиков, которые выдали себя за ткачей и утверждали, что они умеют ткать лучшее сукно, какое только можно вообразить. Не только краски и рисунок этого сукна необычайно красивы, но самые платья, которые изготовлялись из него,

*) Увеселительная прогулка за город.

**) Комната, где хранится платье и где одеваются.

***) Место постоянного пребывания короля.

обладали тем чудеснейшим свойством, что были невидимы для людей, не годившихся для своего дела или—непродоходимо глухих.

— Ах, какие удивительные платья!—думал император.—Вот, если бы у меня было такое платье, я мог бы узнать, какие люди в моей державе не годятся к должности, занимаемой ими, и мог бы отличить дураков от умных! Нужно тотчас же наткать себе такого сукна!

И он дал мошенникам большой задаток и приказал немедленно приступить к работе.

Действительно, они поставили два ткацких станка и притворились, будто работают,—но на станке у них не было ничего. С первой же минуты они потребовали тончайшего шелка и самого лучшего золота. Но шелк и золото они спрятали в свои карманы, а работали над пустыми станками до глубокой ночи.

— Хотелось бы мне знать, много ли они наткали сукна?—думал император; но у него скребли кошки на сердце при мысли, что тот, кто глуп или не годится для своей должности, не может увидеть сукна... Конечно, он был уверен, что за себя ему нечего бояться; но все же предпочитал послать кого-нибудь другого посмотреть, как идет дело. В городе уже все знали, каким чудесным свойством обладает сукно, и каждый любопытствовал узнать, насколько глуп или бездарен его ближний.

— Пошлю-ка я к ткачам своего старого, честного министра!—решил император.—Он скорей всех увидит, каково сукно! Человек он рассудительный, и для его должности трудно найти более подходящее лицо...

И вот старый добряк-министр отправился в зал, в котором над пустыми станками сидели и работали оба обманщика.—О, небо!—подумал министр и широко рас-

крыл глаза,—да ведь я ничего не вижу!—Но он этого не высказал вслух.

Обманщики предложили ему подойти ближе и спросили:—Не правда ли, какой дивный рисунок, какие чудесные краски?—При этом они указали на пустой станок; бедный министр из всех сил тер себе глаза, но не мог ничего разглядеть, ибо ничего перед ним и не было.—Великий боже,—подумал он,—неужели я глуп? Лично я никогда этого не замечал, и нужно, чтобы никто этого не знал! Неужели я не гожусь для своей должности? Нет, я не буду рассказывать, что не мог разглядеть сукна!

— Ну, что скажете?—спросил один из сидевших у станка.

— О, чудесно, великолепно!—проговорил старый министр, пяля глаза сквозь очки.—Какой рисунок, какие краски! Да, я сейчас же передам императору, что мне понравилось!

— Как приятно это слышать!—проговорили ткачи и стали называть краски по именам и объяснять хитрый рисунок. Старый министр внимательно слушал их, чтобы суметь передать их слова императору. Так он и сделал.

Между тем, ткачи требовали все больше денег, все больше золота и шелка, будто бы для тканья. На самом деле они все это клали в свои карманы. На станок не попало ни единой нитки, но они, как и прежде, продолжали работать над пустыми станками.

Император вскоре разыскал другого простодушного чиновника, которому поручил узнать, как идет работа, и скоро ли будет готово сукно. С ним произошло то же самое, что и с министром. Он глядел во все глаза; но так как кроме пустого станка перед ним ничего не было, то, естественно, и он не мог ничего разглядеть.

— Не правда ли, дивное суконце?—говорили обманщики, показывали и объясняли красивый рисунок и краски—каких на самом деле не было.

— Да ведь я же не дурак!—думал чиновник.—Значит, я не гожусь для моей должности? Очень странно! Пусть, по крайней мере, этого никто не знает...—И он стал расхваливать сукно, которого не видел, и выражать свое восхищение великолепными красками и красивым рисунком.—Да, чудесная вещь!—сообщил он императору.

В городе все только и говорили, что о замечательном сукне.

Наконец, сам император пожелал увидеть сукно, пока оно находилось еще на станке. Сцелой свитой избранных придворных, среди которых находились и простодушные чиновники, уже видевшие сукно, он отправился к хитрым обманщикам, работавшим изо всех сил, но без признака нитей или волокон.

— Не правда ли, чудесное сукно?—говорили простодушные чиновники.—Посмотрите только, ваше величество: какой рисунок, какие краски!—И при этом они указывали на пустой станок—ибо думали, что другие-то видят сукно!

— Что это?—думал император.—Я ведь ничего не вижу!.. Просто изумительно... Глуп я, что-ли, или не гожусь в императоры? Это ужаснее всего, что могло бы стрястись надо мною!—О, очень мило!—проговорил император.—Восхитительно, я всемилостивейше одобряю!—Он с довольным видом кивал головою и рассматривал пустой станок. Он не хотел признаться, что ничего не видит; и вся свита, которую он привел с собой, глядела во все глаза, но все видели не больше, чем другие, и все-

таки твердили вслед за императором:—О, какая красота!—и советовали ему надеть новое платье из чудесной ткани в торжественную процессию, предстоявшую в скором времени.—Восхитительно! Чудесно! Очаровательно!—переходило из уст в уста, и все были в восторге. Император пожаловал обоим обманщикам по крестик в петлицу и по титулу тайного придворного ткача.

Всю ночь перед утром, в которое предстояла процессия, обманщики не спали и работали при свечах. Все могли видеть, как они заняты изготовлением нового платья императора. Они прикидывались, будто снимают сукно со станков, резали огромными ножницами пустой воздух, шили иглками без ниток и, наконец, объявили:—Ну, вот платье и готово!—Император сам явился к ним с главными придворными чинами, и обманщики поднимали руку вверх, словно держали в ней что-то, и приговаривали:—Смотрите, вот панталоны; вот мундир; вот мантия!—и так далее.—Легко, как паутина! Можно подумать, что на теле ничего нет—но в этом-то и состоит преимущество!

— Да!—соглашались царедворцы, но ничего не могли разглядеть, ибо перед ними ничего не было.

— Соболаговолите, ваше императорское величество, всемилостивейше снять ваше августейшее платье!—говорили обманщики.—Мы наденем на вас новое перед большим зеркалом!

Император снял свое платье, а обманщики сделали вид, что надевают на него штуку за штукой новое платье, изготовленное ими. Они хватали его за пояс и прикидывались, будто привязывают что-то такое, что должно было представлять собой шлейф; а император вертелся во все стороны перед зеркалом.

— Как дивно оно вас облегает! Как превосходно сидит!—воскликали все.—Какой рисунок, какие краски! Какой драгоценный наряд!

— Там внизу приготовлен балдахин, который понесут над вашим величеством в торжественной процессии!—доложил главный церемониймейстер.

— Ну, все в порядке?—спросил император.—Не правда ли, как хорошо сидит?—И при этом он еще повертелся перед зеркалом, ибо должен был сделать вид, что осматривает свой новый наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф, наклонялись до полу, словно поднимали шлейф. Они держали перед собой руки в воздухе; они не смели показывать, что ничего не видят...

И вот, император шествовал в торжественной процессии под роскошным балдахином, а публика на улицах и в окнах кричала:

— О, небо, как бесподобно новое платье императора, какой дивный шлейф у его мантии, как все прекрасно сидит!—Никто не хотел показать, что он ничего не видит. Это значило бы, что он либо не годится для своей должности, либо непроходимо глуп. Ни одно из прежних императорских платьев не производило такого фурора.

— Да ведь на нем ничего нет!—закричал маленький ребенок.

— О, небо, вы слышите голос невинности?—промолил его отец; и люди стали нашептывать друг другу на ухо слова ребенка.

— На нем ничего нет; вот этот маленький ребенок утверждает, что на нем ничего нет!

— Да ведь на нем ничего нет!—закричал, наконец, весь народ.

Императору стало неловко, так как ему и самому казалось, что народ прав; но он подумал:—Теперь остается только одно—держать себя с достоинством!—Он принял еще более гордую осанку, а камергеры продолжали нести шлейф, которого на деле-то не было.



„НОВАЯ МОСКВА“

ВЫШЛИ В СВЕТ

Для детей и юношества

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Оле Лукояе	3
Свинопас	19
Соловей	27
Старая любовь	40
Гадкий утенок	43
Елка	55
Новое платье императора	66

ПЕЧАТНИЦА

„НОВАЯ МОСКВА“

Москва, Кузнецкий Мост, 1.
Телефон 69-26 и 69-51.

Петербург, Просп. Володарского (б. Литейный), 53.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Для детей и юношества:

- 1) Алтаев и Феличе. В великую бурю. Повесть из времен Кромвеля, ц. 1 руб.
- 2) Фич Перкинс. Мини и Монни. Повесть из жизни эскимосов.
- 3) Его же. Маленькие японцы, ц. 50 коп.
- 4) Д'Эрвилли. Приключения доисторического мальчика, ц. 60 коп.
- 5) А. Насимович. Конь-огонь. Сказки, ц. 50 коп.
- 6) Додж. Серебряные коньки. Повесть, ц. 1 руб. 50 коп.
- 7) Анненская. Ф. Нансен и его путешествия, ц. 1 руб. 50 коп.
- 8) Рони. Вамирэх, ц. 60 коп.
- 9) Персидские сказки. С иллюстрациями.
- 10) Мунд (Похгаммер). Приключения барона Мюнхгаузена.
- 11) М. Свентицкая. Сказки и рассказы детского сада. Вып. 1-й и 2-й.
- 12) Кузнецова. Гринька и Гранька.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

- 1) Рони. Борьба за огонь.
- 2) Андерсен. Сказки.
- 3) Галицкий и Валентинова. Дед электрик.

С заказами и требованиями обращаться в книжные магазины **Московского Совета.**

- 1) Центральный склад,
Кузнецкий Мост, № 1.
- 2) Книжный магазин № 1,
Кузнецкий Мост, № 1.
- 3) Книжный магазин № 2
(б. Суворина), Неглинный
проезд, д. № 9.

- 4) Книжный магазин № 3
(б. Карбасникова),
Моховая, д. № 24.
- 5) Книжный магазин № 4,
Арбат, д. № 4.
- 6) П/отд. театральной литературы.

2 - июл 1942

К



1/2